

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ЛЮБОВНЫЙ
ТРЕУГОЛЬНИК

Георгий Баженов

**Смертельный
любовный треугольник**

«Баженов Георгий Викторович»

2006

ББК 84(2РосРус)6

Баженов Г. В.

Смертельный любовный треугольник / Г. В. Баженов — «Баженов
Георгий Викторович», 2006

ISBN 5-7117-0112-6

Любовь всегда переплетается в книгах Георгия Баженова с мотивами предельного жизненного напряжения, нередко — со смертельным исходом. Три истории о любви, как истории загадочного смертельного треугольника, — таков основной нерв блистательного романа Георгия Баженова. Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.

ББК 84(2РосРус)6

ISBN 5-7117-0112-6

© Баженов Г. В., 2006

© Баженов Георгий Викторович, 2006

Содержание

История первая	5
Ловушка для Адама и Евы	5
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Георгий Баженов

Смертельный любовный треугольник. *Роман-триптих*

История первая

Ловушка для Адама и Евы Современный миф

Стыдно признаться, а грех потаить: бывали такие случаи...
А. Ф. Писемский

Егор глазам своим не поверил: в черемуховых кустах, у самой воды, прятался красный «Москвич»! Бесшумно, как осторожный зверь, Егор юркнул в густоту окружающих зарослей, присел на корточки и, невольно сдерживая дыхание, начал пристально наблюдать за «Москвичом». В машине, однако, не было заметно никаких признаков жизни.

С реки, с крутой ее излучины, дымно клубился туман; и «Москвич», облитый утренней росой, казался нереальным в белесости тумана, казался красным расплывшимся пятном.

Здесь, на изгибе Чусовой, у Егора стояло обычно по две-три вёрши, на разной глубине, и не было дня, чтобы в них не трепыхались то серебристые язи, то крупная плотва, а то широкие подлещики с какой-нибудь мелочью вдобавок: окушки с ершами или неожиданный елец. И вот...

Какое-то время Егор прятался в зарослях лесной чащобы, потом мягко, как кошка, начал ввинчиваться в прогалы кустов, тихо-незаметно приближаясь к «Москвичу». Подкравшись совсем близко, он привстал на цыпочки и заглянул в заднее окно, тут же отпрянув от него: там, в машине, полулёжа, спали в обнимку мужчина и женщина.

«Вас тут только не хватало...»

Егор так же мягко-осторожно, как прежде, вильнул в кусты и вскоре выбрался на тропу, по которой недавно вышел к излучине Чусовой. «К жерлицам, может, сходить? Там проверить?» Но махнул рукой: утренняя ранняя зорька была испорчена...

Проснувшись, Катя тихонько и нежно, как только могла, выскользнула из-под обнявшей ее, отяжелевшей за ночь руки; но только хотела открыть дверцу, как Георгий прошептал:

– Не уходи... – и улыбнулся сонной, детски незащищенной, как бы слегка обиженной улыбкой.

– Здравствуй! – Она ласково поцеловала его в щеку. – Доброе утро, засоня! Проснулся?

– Не уходи... – Он потянулся к ней, обнял и обнимал так крепко, словно боялся, что кто-нибудь чужой может отнять ее у него.

– Посмотри, какое утро! – Она кивнула за окно, и улыбнулась, и негромко засмеялась.

Он открыл окно. В самом деле – вокруг было удивительно: дымящаяся туманом река, изумрудная зелень черемухи по берегам и залитая утренней моросью лужайка перед окнами машины.

– Как странно, – еле слышно проговорил он.

– Что странно? – Она вновь поцеловала его – на этот раз в слабо шевелящиеся, шепчущие губы.

– Странно, – повторил он. – Это все с нами происходит? Это не сон, Катя?

– Нет, не сон. Мы проснулись. Это жизнь, Гоша. Это наша с тобой жизнь.

– И мы никому ничем не обязаны?

– Пойдем лучше умываться, философ. Не надо ни о чем думать. Мы вместе. Мы вдвоем. –

Она нажала мизинцем на кончик его носа: – Би, би, приехали, Гоша! Проснись!

– Знаешь, я люблю тебя, – сказал он. И улыбнулся. И потянулся к Кате поцеловать ее.

– А я тебя нет, – нарочно, чтобы подразнить его, сказала она и рассмеялась.

– Как быстро проходит любовь! – И в улыбке его неожиданно скользнуло что-то грустное, задумчивое...

– Знаешь, что быстро проходит? Слепой дождь. А любовь не проходит никогда. Разве ты не слышал об этом, Гоша?

– Ну, и кто же из нас философ?! – На этот раз они рассмеялись вместе и так, смеясь, выбрались из машины.

И правда: как свежо, как тихо, как первозданно было вокруг; ночью, когда они свернули сюда с городского шоссе, все представлялось совсем иным: и река была черна – даже под светом фар, и лес шумел угрюмо, зловеще, и даже прибрежные заросли черемухи, куда они уткнулись капотом машины, казались огромной паутиной, в которой уж не запутались ли они? И тогда, ночью, Катя предложила не выходить из «Москвича», а дожидаться утра в машине...

И вот – такая, оказывается, благодать кругом! Катя скинула босоножки и побежала по лужайке к реке, и тугая роса брызгала из-под ее ног во все стороны серебристо-прозрачным веером. И удивительно: в этот именно миг над излучиной Чусовой загорелся тонкий окраешек солнца, и туман на реке как бы зашипел-заклубился недовольно, будто не хотел уступать рассвету и солнцу ни этого утра, ни этой благодатной сокровенности природного царства.

Георгий быстро сбросил с себя брюки и рубаху и, обгоняя Катю, со всего разбега врезался в реку, нырнув в ее воды с головой. Только брызги полетели по сторонам!

– А я? А меня? Ах ты... – И Катя, бормоча притворно-рассерженные слова, в одну секунду скинула легкий сарафан и бросилась вслед за Георгием.

Ох, вода обжигала холодом! Но это только в первый миг, в первое касание с рекой, а затем горячая ласковая пелена обволакивала все тело, и оно, словно охлестнутое печным глубоким теплом, как если бы парился в деревенской баньке, занималось ровным внутренним жаром.

Они плыли тихо, неторопливо, размеренным брассом, плыли навстречу восходящему солнцу; туман плавился и редел, и они уже хорошо различали не только противоположный берег реки, но и далеко раскинувшиеся забережные луга, густо заросшие травой, девственные луга. А потом, когда устали, они легли на спину, и слабое ровное течение реки медленно сносило их вниз, разворачивая на излучине и неспешно прибывая к нужному им берегу.

Уставшие, счастливые, они выбрались на луг, который – удивительно – был сух теперь от росы, будто не только что, ну, скажем, полчаса назад не он именно блистал росной влагой, – такое уже поднялось солнце, таким горячим и даже жгучим теплом опануло оно луговые травы! И кусты черемухи не изумрудно-влажно, а матовосвежо светились на солнце, и даже красный их «Москвич» не блистал росой, а горел ровным сухим глянцем.

Уснула ночь – здравствуй, утро!

И как странно, как неожиданно враз почувствовали они в себе сосущее нетерпение голода: сколько же они не ели? Пожалуй, со вчерашнего полудня.

– Будем делать костер? – обнимая Катю, спросил Георгий на всякий случай: может, она так голодна, что и костра не сможет дожидаться? Хотя костер легко было сделать: на полянке виднелся кружок золы от чьего-то прежнего кострища, да и кое-какие дровишки лежали рядом.

– Конечно, костер, да, да! – кивнула Катя. – Ух, я проголодала-а-ась... – И улыбнулась. – Но я хочу костер, костер, Гоша!

Через пятнадцать минут в котелке кипела речная чистая вода, варились сосиски, которые Катя так предусмотрительно захватила из Москвы; после сосисок, ополоснув котелок, вскипятили свежей воды и заварили душисто-ароматный и терпкий индийский чай.

– Оказывается, ты вон какая практичная женщина! – то ли шутя, то ли всерьез восхитился Георгий.

– А ты гол, как сокол! – в том же тоне парировала Катя.

– Как сокол! – переиначил он, и это показалось им неожиданно смешным и забавным, и они в который раз за это утро радостно рассмеялись.

В самом деле, на сегодняшний день Георгий оказался гол, как сокол: все, что у него было в прежней жизни, осталось в Москве: и квартира, и жена, и дети; единственное, что имелось, – старый «Москвич», оттого и уточнение показалось смешным: «Не гол, как сокол, а как – сокол!» (Хоть «Москвич» остался...)

Впрочем, тут нет ничего удивительного – именно так они и порешили с Мариной: пусть на все четыре стороны катится на дряхлом «Москвиче» («Подаvisь им!»), но квартира и всё, что накоплено за совместную жизнь, – ей и детям: «Надеюсь, ты не против?» Конечно, он не был против. Он сел в машину, посадил в нее Катю и отправился в Свердловск. Навсегда. В Катину однокомнатную квартиру. Ехали уже три дня; осталось немного, но тут настигла в пути последняя ночь, и они решили свернуть с городского шоссе вот сюда, к Чусовой, переночевать у реки.

После завтрака лежали на траве, болтали, мечтали... Вся ложь жизни осталась позади, впереди – только любовь и правда, правда и любовь, но ведь за это они так упорно боролись и столько перемучились... Господи, какое счастье, что выстояли, выдержали всё: от непонимания и удивления, до презрения и ненависти знакомых, близких и родных, – а теперь... Как хорошо теперь вдвоем, навеки, навсегда, на всю оставшуюся жизнь!

Лежа на животе, блаженно уронив голову на вытянутые вперед руки, Катя неожиданно увидела ну точно перед самым носом спелую крупную землянику; Катя чуть подтянулась на руках и ухватила мягкую сочную плоть губами, разом почувствовав во рту горьковато-зернистую сладость и терпкость ягоды. И тут она увидела еще землянику, и еще, и еще...

– Гоша! – воскликнула Катя. – Ты посмотри: мы лежим в земляничном царстве!

Георгий, задремав после сытного завтрака, заполошно встрепенулся.

– Где? Что? Что ты говоришь?

– Да вон, смотри: земляника! И вон там, и вон дальше, и вон еще, везде, везде, ой, Гоша, сколько ее!

– И правда, – удивился Георгий. – А мы и не заметили.

– Давай наберем земляники? Представляешь, приедем в Свердловск, а у нас – целое ведро ягод! Наварим варенья, а можно немного и засушить земляники – знаешь, я помню, бабушка всегда держала в кладовке сушеную землянику (первое средство от простуды!), или просто закатаем землянику в банки – в собственном соку, а?!

– Ну уж ведро-то нам не собрать, – засомневался Георгий. – Земляника – ягода трудная.

– Да сколько наберем! Какая разница? Вся наша будет.

И они, захватив небольшое ведерко (ведерко нес Георгий, а Катя взяла эмалированную кружку) стали все дальше уходить от «Москвича» в лес. Все побережье Чусовой заросло черемушником, но чем дальше от берега, в глубь леса, тем больше высились прекрасных строевых сосен, а кое-где по опушкам открывались чистые березовые рощицы; так и перемежался лес: то сосна, то береза, а то и небольшой ельничек – видать, лесничьи посадки. День стоял светлый, сухой, солнечный, ни комаров, ни мух, ни слепней – удивительно! – и ходить по лесу было одно блаженство и удовольствие. Иной раз – в виде больших разноцветных ковров – попадались поразительно красочные поляны: сплошные земляничные кусты, раскрашенные бело-желтой (неспелой) или ярко-малиново-красной (спелой) и крупной земляникой. Поллит-

ровую кружку на таких девственных полянах и полянках Катя набирала минут за двадцать, а то и за четверть часа, что, конечно, было благодатью, если кто знает, что такое пойти в лес по трудную ягоду землянику... Ловкая, сноровистая, раскрасневшаяся, в бело-голубом цветастом сарафане, Катя порхала по земляничным полянам, как яркая бабочка, и Георгий с удивлением и даже с каким-то новым,

незнакомым для себя чувством восхищения (он умел любить, но почти не умел восхищаться) наблюдал за Катей; пожалуй, он даже больше наблюдал за ней, чем собирал ягоды, потому что время от времени, высыпая очередную кружку земляники в его ведро, Катя восклицала разочарованно:

– Ну, Го-о-оша... что-то у тебя не прибывает... На что он смущенно улыбался:

– Ладно, ладно, это мы еще посмотрим... Ты особенно-то не хвастайся, не хвастайся! – И бросался с истовым азартом брать новую ягоду, но земляника – не та ягода, которая любит натиск, она предпочитает в ягоднике медленное трудное упорство и терпение...

Далеко ли они ушли от машины, они не знали (им казалось – совсем недалеко), но вскоре им странно почудилось, что как-то тихо-незнаком, угрюм и тревожен стал лес: то было светло, и ярко, и солнечно кругом, а тут вдруг – и темней заметно, и сосны гуще, и много тяжелых разлапистых елей, и заросли густого пряного папоротника – чуть не в человеческий рост, и более частое тревожное уханье филина, и какие-то резкие, пронзительные вскрики зловещей птицы (впрочем, это был дергач)...

– Мы не заблудились, лесная царица? – спросил Георгий; он спросил как бы с усмешкой, чтобы не выказать внутренней напряженности. Но Катя, хотя и тоже почувствовала тревожность и беспокойство в душе, ответила легко и беспечно (а как иначе, ведь она у себя дома, на родине, в уральских лесах):

– Тут заблудиться невозможно. Видишь, где наше солнышко? – Она показала рукой вверх, где в маленьком проеме среди верхушек могучих елей виднелся паутинно-веерный кружок солнца. – От него мы должны пойти вон туда, – она показала направление, – и выйдем прямо к нашей машине.

Набрали они к тому времени половину ведерка и решили, что самое время – идти в обратном направлении: как раз, когда выберутся к полянке, может, и ведро наполнится с верхом.

Видно было, что Георгий воспринял это решение с облегчением, и Катя рассмеялась.

– Уж не боишься ли ты, Гоша?

– С тобой – ничего не боюсь! – Он картинно выпятил грудь. – Но ты же знаешь – я городской на все сто процентов, и мне привычней блуждать по улицам и переулкам, чем по чащобам и зарослям папоротника.

В обратную сторону прошли они минут двадцать, и вдруг Катя увидела – чуть в стороне от тропы – самый настоящий забор деревенского (или лесного?) огорода.

– Смотри-ка! – показала она Георгию.

– Что это? – не совсем понял он.

– Огород! – Она обернулась к Георгию с сияющими восторженностью глазами. – Здесь кто-то живет. Ой, как интересно!

– Ну, живет и живет, пускай живет, – пожал плечами Георгий. – Нам-то какое дело? – Хотя на душе у него стало полегче: теперь-то в любом случае не заблудятся – люди дорогу укажут. Почему так подумал? Потому что хоть и не говорил Кате, но про себя упрямо считал: идут они совсем не в ту сторону, в какую нужно...

Огород был небольшой, соток восемь, безупречно ухоженный: три продольных гряды с картошкой и множество поперечных грядок с морковью, свеклой, луком, редиской, капустой, горохом, разной травой: кинзой, щавелем, салатом, петрушкой, сельдереем; чуть в стороне высился аккуратный парничок, сквозь стекла которого виднелись крупные, но пока зеленые

помидоры и мощно-плотная завязь огурцов. Месяц стоял июнь в середине, но ботва картошки, к примеру, была так густа и крепка, что глазам не верилось: неужто такое может быть на Урале в июньские дни? Причем все грядки, включая и поперечные с разной зеленью и овощем, тщательно прополоты, ни одной травиночки, ни единого сорняка, а картошка окучена так высоко и так равномерно-округло-красиво, что просто залюбуешься. И еще: нигде, ни на одном листочке-лепесточке не виделись на картофельной ботве колорадские жуки, эти истинные варвары на нынешних огородах.

Катя восхищенно прицокивала языком, а Георгий, хоть и мало понимал в сельской жизни, тем не менее тоже мог оценить безупречный порядок и чистоту в огороде, а вместе с этим – и его красоту.

– Настоящие хозяева живут! – радовалась Катя так, будто сама имела какое-то отношение к огороду.

– Да и дом, смотри, вон какой! – поддержал ее Георгий.

Действительно, дом, который открывался глазам в конце огорода, был тоже удивителен; совсем не огромные хоромы, не высокий, но богатый росписью и узорами, он больше походил на игрушку, аккуратную и ладную в своей простоте и невеликости. Два окна – на фасад, одно – на огород; окна в зеленых наличниках; тесовая новая крыша; махонькое крыльцо с перильцами; крохотный сарайчик сбоку; и все – обновленное, обшитое свежеструганной гладкой доской. Видно было кое-где – по открывшимся темно-серым бревнам, – что дому немало лет, однако ладность и праздничность его воспринимались оттого, что почти весь он был обшит новой и крепкой шелёвкой. Невольно думалось: как, наверное, прекрасно тут жить – среди лесной красоты и тишины, в покое или в заботах-работе на этом ухоженном огороде, в этом чудном домике, больше похожем на сказочный теремок... А теремком он и потому еще выглядел, что крыша его – тесовая – была высоко-востренькой, непривычной для деревенской избы.

Катя с Георгием подошли к дому: тихо было вокруг, ни звука, ни движения. Присели на крылечко – отдохнуть, перевести дыхание. Рядом, на ступеньки, поставили ведро с земляникой, так и оставшееся наполовину пустым.

– Может, и нет никого в доме? – предположил Георгий.

Катя поднялась по крыльцу вверх и негромко постучала в дверь: никакого ответа; постучала громче, хотя знала: в деревенские избы не принято стучать, можно просто заходить и окликать хозяев: «Есть кто дома, нет?» И опять никакого движения в доме.

– Может, зайдём? – спросила она у Георгия.

– Пошли. – И он тоже поднялся по ступенькам, оставив на крыльце ведро с ягодами.

Дверь не была заперта; вошли в небольшие сени, в темноте нащупали ручку второй двери и дернули на себя. Открыто! В избе стоял полумрак; но, странное дело, в этом полумраке сразу, отчетливо вырисовалась худощавая фигура человека – мужчины, который сидел у светлого, ярко освещенного с улицы окна и напряженно – так казалось – смотрел куда-то за окно, вдаль. Напряженность его позы ощущалась по затылку – сурово замершему, неподвижному.

– Здравствуйте, – приветливо произнесла Катя.

– Здравствуйте, – поприветствовал и Георгий и, неожиданно почувствовав горечь во рту, несколько раз прокашлялся.

Никакого ответа, никакого движения,

– Простите, мы тут землянику собирали... – проговорила Катя, переглянувшись с Георгием удивленно-недоуменным взглядом. – Не найдется ли у вас попить?

Опять никакой реакции; мужчина продолжал упорно смотреть в окно, хотя шея его налилась розовой краской. Значит, он слышал их?

– Напиться-то хоть у вас можно?! – уже погрубей, посмелей и довольно громко спросил Георгий.

Снова молчание.

– Эй, товарищ, вы что, не слышите нас? Мы тут ягоды собирали, можно у вас напиться? – еще громче, почти крича проговорил Георгий.

– Не ори, не глухой! – был резкий, неожиданный ответ.

Георгий с Катей с оторопью переглянулись.

– Простите, не дадите ли напиться? – тихо вежливо попросила Катя тем мягким, нежным голосом, которым обычно открывала любые замки в любом самом жестком мужском сердце.

– Пошли вон! – вдруг зарычал хозяин и, повернувшись к ним, с яростью повторил: – Вон!

– Простите, но мы...

– Вон! И с реки чтоб убирались! Ясно? А не то я вас... – Он поднялся с табуретки и медленно пошел на них. Глаза его горели бешенством – черные, угольные глаза. Лицо – узкое, продолговатое, с мощно выпирающим подбородком – налилось сероватой бледностью, губы побелели. И странным, и страшным контрастом к лицу была широкая ярко-синяя лента, которая опоясывала его голову с длинными, как бы завитыми на концах черно-смоляными волосами.

Он пошел на них, сжав кулаки, и они невольно попятнулись, хотя, надо сказать, Георгий не был совсем уж робкого десятка: широкий в плечах, высокий, с крепкими руками, он не раз участвовал в московских передрягах, где, хоть и не доходило ни до чего серьезного, он все же не пасовал. И это главное – не пасовал, и поэтому всегда все заканчивалось благополучно.

А тут – попятнулись оба.

Хозяин шел на них, а они, как под гипнозом, пятились, так и вышли – задом – на крыльцо, и по крыльцу спускались задом, потому что он продолжал идти на них, словно вот сейчас, на месте, хотел придушить обоих; Катя нечаянно сбила ногой ведро с земляникой, оно покатилося по крыльцу, рассыпая за собой кроваво-красную дорожку, кровавую потому, что оба невольно наступали на ягоды, которые истекали под тяжестью их ног спелой и налитой сочностью.

Внизу Георгий все же подхватил ведро, в котором ягод осталось всего на доньшке, и они с Катей разом, как по команде, повернулись и поспешно пошли прочь от дома, как от чумы, как от наваждения.

И вот этого (поспешного своего бегства) очень долго не мог простить себе Георгий: бегства, а значит – трусости своей.

Неужели он трус?

Никогда не думал так о себе; да и не был трусом; но тут что-то такое было во взгляде хозяина, такая властность и – главное – такая неподдельность ненависти к ним, ненависти и ярости, что не подчиниться нельзя было. Но за что ненависть, откуда?!

А кружка эмалированная, в которую собирала землянику Катя, так и осталась на крыльце: без ягод, без воды...

Вчера, второй раз за лето, приходил Паша Востриков, участковый. Посидели, даже выпили немного, но разговора не получилось. Да и мог ли он получиться? Востриков считал Егора (в душе, конечно) не совсем нормальным, верней – не от мира сего, хотя это не мешало участковому относиться к Егору свысока. В самом деле: когда-то они учились вместе, в одном классе, в одной школе-интернате в поселке Северный; Паша тянул лямку еле-еле, но ребята в классе его любили – он был добродушный и покладистый, а Егор, учась на «четверки» и «пятерки», причем легко, без особых внешних усилий, был ядовит, резок, властен, него, конечно, недолюбливали, побаивались. Еще одна черта водилась за Егором: он любил говорить правду. Всем без разбора. Какая бы она ни была. Учителям, родным, одноклассникам. Даже лучшим друзьям своим – Степке и Николе, которые за это еще больше его уважали. (Ну, и остерегались, конечно, тоже – языка его остерегались.) Это ли повлияло на решение Егора (что он любил искать и говорить правду), или что-то другое, но после окончания школы-интерната он легко и просто, казалось бы, поступил в Уральский государственный университет на философский факультет, отчего сразу стал знаменитостью в поселке: еще никогда в Северном не было своих «философов» – никогда за все годы, сколько помнил себя этот обычный заводской

поселок, раскинувшийся на склонах холмов и небольших гор недалеко от Свердловска. Пока Егор учился в университете, Паша Востриков успешно закончил свердловскую милицейскую школу и вернулся в родной поселок. И вот уже многие годы работает участковым. Но в чем тут штука-то? Отчего бы это участковому милиционеру относиться свысока к «философу» Егору Малицыну? А соль тут в том, что в начале третьего курса Егор вдруг бросил университет, но в поселок не вернулся, а остался в Свердловске и пошел работать на завод – сначала учеником токаря, но постепенно вырос в первоклассного мастера токарных дел. Жил в Свердловске в рабочем общежитии, жил много лет, не претендуя ни на что лучшее, слыл молчаливым, скрытным и вспыльчивым. Особенно когда выпивал. Мать в Северном понять не могла (отца у Егора не было, он даже отчество деда носил – Савельевич), что с сыном случилось. Отчего бросил университет? Почему работает на заводе? Чего добивается? Ведь годы идут... А в двадцать шесть лет Егор выкинул последнее коленце: плюнул на завод и вернулся в Северный. Но жить стал не с матерью – куда там! В шести километрах от Северного, на берегу Чусовой, раскинулась вольная деревушка Красная Горка – вот туда и ушел жить Егор Малицын. И не в самую деревеньку, а в одинокий домишко километрах в полтора от деревни; правда, тут есть объяснение: дом этот некогда принадлежал деду Егора, леснику Савелию Малицыну по кличке Азбектфран: корень-то Малицыных отсюда шел, из Лесниковой избушки... Разбил Егор заново огород, подремонтировал-подлатал дом, занялся рыбалкой, охотой – и вот живет здесь бобылем второе лето... А почему Востриков к нему ходит? Потому что он участковый, а порядок должен соблюдаться везде и всегда. Ладно, пусть Егор в Северном прописан, в материном доме, а живет здесь, под Красной Горкой; это ладно, ничего, тут страшного не так много. Другое плохо: где и кем работает Егор? Нигде. Никем. На какой работе числится? Ни на какой. При этом на замечания Вострикова посылает участкового подальше. Как быть Вострикову? Не обращать внимания? Нельзя, непорядок, нехорошо. А дать ход делу? – совесть мешает. Ведь одноклассники все-таки... К тому же – и это самое главное – Егор живет тихо, спокойно, никому не мешает, а трудится – за десятерых: когда бы к нему ни пришел – он весь в работе. Вон огород – сказка. А лес и подлесок в округе? Вычищен и прочищен так, будто это парк ухоженный в каком-нибудь капиталистическом государстве Люксембург. А кто лучший рыбак на Чусовой и Северушке? Опять же – Егор Малицын. При чем сроду у него сетей не водилось, не балует ими. Есть, конечно, одна странность – не любит, чтоб ходили к нему, лезли в его жизнь. И не только сюда, в избушку, а и чтоб в округе никого не было. Впрочем, к нему и не ходят особо. То ли боятся. То ли дичатся его. То ли понять этого человека не могут. Хочется жить одному? Живи. Бог с тобой...

А все ж таки как бы там ни было – в трудовой книжке никакой у него записи. Непорядок. И приходится участковому Вострикову время от времени наведываться сюда: «Как хочешь, Егор, а надо что-то делать, решать... Ведь случись что – кому отвечать? Вострикову!»

– Не трясись ты за свою шкуру, Паша! – сказал вчера Егор, когда сидели и тихо-мирно выпивали, огурчиком закусывали. – Чего тут может случиться?

– А записи нет в трудовой – это как? Тунеядство называется. Ты бы хоть в аренду какую записался... А то живешь, как куркуль-единоличник. В прежние времена с такими, знаешь, как поступали? Ать-два и в дамках!

– Давай, мечтай о прежних временах... Тебя бы первого тогда удавили.

– Как это? Ты, парень, того... говори, да не заговаривайся!

Надо сказать, Павлу Вострикову стукнуло недавно двадцать восемь лет, молодой еще мужик, а разговаривал он – ну как дед старый, верней – языком дедов: протяжно, неспешно, как бы со всегдашним удивлением; и интонации, и словечки – все было, как если бы это не совсем нынешнее, а слегка давешнее время; раньше, лет до двадцати пяти, такого за Востриковым не водилось, а потом вдруг разом – преобразился Павел: видать, почувствовал себя, вошел в колею, которую издревле прокладывали в его роду деды да прадеды.

– А так, – объяснил свою мысль Егор. – Кто сильно старался порядок наводить – того туда же, в петлю пихали: опасный человек.

– Чем опасный?

– А до корней может докопаться. А этого, Паша, ни в какие времена не любят.

– Чувствую, намекаешь на что-то. А не пойму. Ты мне просто скажи: почему не устраиваешься на работу?

– Я работаю. Не видишь? – Егор кивнул за окно – на огород, на Чусовую вдали, на красногорский лес.

– Нет, а официально?

– Не хочу.

– Да ты пойми: если каждый скажет: «Не хочу!» – что тогда будет?

– Если бы каждый работал, как я, больше бы толку было. А так – одна ложь кругом.

– Значит, вся страна за дело взялась, а ты говоришь: ложь?

– Я так не говорил. Не шей мне мыла, Паша!

– Слушай, ну вот если честно: никак я тебя не пойму! – воскликнул Востриков. – Ведь ты умный мужик. Образованный. В университете учился. На заводе работал. И вдруг – бац – бросил все. Ты в своем уме?

– А ты?

– Я-то в своем, – нахмурился участковый. – Но какого хрена ты учиться бросил, убей – не пойму.

– Потому и бросил, что понял: ложь там одна, а не философия. Жить надо, а не ласы точить. Так-то, старшина Востриков!

– Ну да, ты, значит, один правду знаешь, а все остальные – ерундой занимаются?

– Все – не все, а многие. Не умеет человек по правде жить. Не получается. Да и не хочется ему, человеку. Жить по правде – это труд, Востриков, а по лжи-то жить легко. По лжи и лицемерию. Вот человек и живет так. Легче ему, спокойней, сытней. Вот ты себя возьми: тебе лишь бы порядок был. А какой порядок – для тебя все равно. А, может, порядок твой – это сущий бардак как раз, безобразие, противочеловеческое что-то, а?

– Но-но, Егор Савельевич, поосторожней на поворотах! Я к тебе жалеючи, с пониманием, а ты еще оскорблять? Не забывай – я при исполнении служебных обязанностей.

– Вот и катись: лови воров, жуликов, паразитов, прихлебателей – там твое дело! А мне тут нечего голову морочить.

– Значит, так ты ценишь дружеское расположение?

– Друг нашелся! – рассвирепел Егор. – Ты жить спокойно хочешь, кусок свой жевать безмятежно – вот и вся твоя дружба. И пошел ты с такой дружбой знаешь куда?!

Павел Востриков не стал уточнять, куда он должен пойти с такой дружбой, а решительно поднялся из-за стола, одернул резко раздраженными движениями гимнастерку, поправил ремень, нахлобучил фуражку на порядком уже облысевшую голову и, козырнув, угрожающе проговорил:

– Предупреждаю вас в последний раз, товарищ Малицын! Мало того, что живете не по месту прописки, так еще не работаете нигде. Как бы не потянуть на статью за тунеядство!

– Арестуешь – отвечу. А сейчас – катись! – И Егор твердо показал на дверь. Даже не встал из-за стола хозяин.

Несколько секунд, приоткрыв губастый рот, Востриков переживал острую обиду, полоснувшую его по сердцу, но – взял себя в руки и твердым шагом вышел из избы; только бритая шея его густо покраснела.

Да, не получилось разговора...

И не в том дело, что Егор не испугался последствий (Востриков был мягкий и добрый человек, отходчивый, и вряд ли решится на что-то серьезное: совесть замучит), дело в другом

– в яростном непонимании, которое разделяло Егора и многих людей, встречавшихся на его пути.

Да что думать об этом! Что мучиться понапрасну!

Егор скинул с себя пиджак, тяжелые лыжные ботинки (весной, летом и осенью – единственно признаваемая им обувь, дешевая и крепкая; зимой предпочитал валенки, «пимы» по-уральски, – обувь тоже надежную, удобную и теплую) и, босой, в одной майке и легких спортивных шароварах вышел из избы, подхватил тяпку у крыльца и отправился в огород.

Когда ему было не по себе, он всегда лечил душу работой; вот и сейчас: встав на углу картофельной гряды, он начал рядок за рядком окучивать картошку, гордость свою, – картошку густую, ветвистую, но еще маловато поднявшуюся над землей и потому требующую как можно больше воздуха, влаги и рыхлости почвы. Солнце припекало не столь сильно, как совсем недавно, когда приходил участковый Паша Востриков (день клонился к закату), но обильный пот и без того яростно и многоструйчато катился по загорелым бугристым плечам Егора, по его мощной груди, по узкому аскетическому лицу; и даже из-под синей широкой ленты, которой Егор всегда прихватывал густые свои, смоляные и вольные волосы, тоже бисеринками выкатывался пот, слепя глаза; прищурившись, Егор снизу вверх, мощной струей воздуха сдувал пот с бровей и ресниц (не прекращая работы, не отрываясь от тяпки), и бисеринки пота разлетались по сторонам, как прозрачно-оранжевые – от солнца – блестящие шарики.

А когда он работал, он всегда думал; больше того, чем неистовой и увлеченной работал, тем думал глубже и серьезней. Конечно, для всех самым странным его поступком было то, что он бросил когда-то университет. Но как объяснить другим, как быть правильно понятым, что потому и бросил, что заела, замучила вконец совесть. Он учился с упоением, легко схватывал все философские термины, понятия, построения, системы, доктрины. Может, оттого легко, что всегда стремился именно к этому: понять, как устроен мир, где его начало, продолжение и конец, понять стройность и логичность законов, которые управляют жизнью, материей и духом; он буквально находился в эйфории, причем эйфории сознательной, оттого, что незаметно-неприметно, но приобщался к тайнам жизни, к их осознанию и пониманию, и даже казалось порой, что то, что понимает он, больше никто на свете не понимает – не понимает так глубоко, ярко, отчетливо, тут бродили-скользили даже мысли о какой-то избранности, пророческом откровении о самом себе, будто он не только открыватель тайн, но и их творец или, по меньшей мере, сотворец.

Что и говорить: сколько молодых сердец ловила в свои сети голая наука философия – наука осознания, понимания и отражения законов материального и духовного мира. Иллюзия причастности к тому, к чему в действительности ты совершенно непричастен, – вот что тут главное, вот в чем истоки возможных и страшных разочарований.

Именно на третьем курсе это и случилось с Егором – он как бы оглянулся вокруг и заметил, и разобрался, и уразумел: философские системы жизни – это одно, а сама жизнь – совсем другое. Сама жизнь – она кровавая вещь, она из пота и плоти, из хлеба и мяса, из слез и страданий. Он учится, упивается знанием, восторжен и упоен в своей мистической мечте познать глубинные законы жизни и природы, а в то же время, когда он выходит из дверей университета, навстречу ему бредет седая старушка в легком рваном пальтишке, без рукавиц, с озябшими посиневшими руками, а из задубевшей на морозе дешевой кожей-товой ее сумки торчит сизый хвост окоченевшей скумбрии... Вот когда в первый раз кольнуло твое сердце! Что-то остановило твой бег, как будто ты ударился со всего размаха о чугунную тяжелую дверь или уперся в каменную стену, – но что такое?! почему?! Ты еще ничего не осознал, не разобрался ни в чем, но защемило, защемило твое сердце... и страшная боль, как острая игла, вошла в твою душу.

Ты потом ходил и ходил по улицам зимнего завьюженного Свердловска, тоже в легком и рваном полупальтишке, как и та старушка, но все же ваши пальто – совсем разные вещи...

И ее скумбрия – тоже совсем другое, чем твой бедный и скудный обед в студенческой столовой... Тут что-то несопоставимое было, несравнимое и несравненное, хотя оба вы – и бедны, и холодны, и голодны. О, твой голод – совсем другой голод; да и не голоден ты, хотя и сосет постоянно в желудке; это оттого, что ты молод и полон сил, и полон восторженного стремления познавать новые и новые тайны жизни через философию и отвлеченную игру ума; тут совсем другое пронзило тебя: тебе двадцать первый год (ты прожил уже треть, а может, всего только четверть, а может – и всю половину отпущенного судьбой времени твоей жизни), но... но ты еще никогда и нигде ничего не создавал и не создал! Ты просто нахлебник у жизни, причем нахлебник восторженный, еще ничего не сделавший, не ударивший палец о палец, а у тебя уже все есть: и корка хлеба, и пальто, и комната в общежитии, и множество книг, и эрос твой есть, который мучит тебя по ночам, но ты пытаешься не придавать ему значения, а ведь он – зов жизни и жизни реальной; нет, для тебя ничего не существует реального, жизненного, одна – наука, одна – философия, но чем же кормятся люди, которые занимаются философией? И не только они, а все, кто ничего не делает, ничего не создает, но много болтает, много думает, много восторгается? Они кормятся именно тем, что отобрали вон у той старушки с озябше-посиневшими руками, которыми она держит дешевую кокемитовую сумку с торчащим из нее сизым хвостом окоченевшей скумбрии...

Вот что открылось Егору! Вот какая странная и страшная бездна легла между ним, счастливым студентом, и случайно встреченной старушкой в легком рваном пальтишке.

Да кто же он в этом мире?

Об этом и начал он думать постоянно и мучительно.

Он как будто впервые в жизни всерьез задумался о своей матери, которая всю жизнь работала, не покладая рук, именно так – не покладая рук, двадцать лет кормит его и поит, двадцать лет непритязательно и ненастойчиво внушает ему, что главное в жизни – человеческий труд, а он совершенно ничего не понимал, ни разу не осознал это как истину, как правду жизни, как нечто такое, что выше всего на свете, в том числе выше любой философии и любого отвлеченного размышления. Двадцать лет он живет бездельником, сидит на чужой шее, кормится чужими трудами и при этом относится к себе не только с уважением, но и с любовью, обожанием, восхищением: сама сложность человеческой натуры и способность человека мыслить, а вместе с этим и самообольщаться, – вот что сбило его с толку! Но теперь-то, когда открылось все?! Когда ясно стало, что прежде чем размышлять о жизни, а тем более – судить и философствовать о ней, надо эту жизнь вначале создать, и не чужими руками, а своими, – теперь-то как быть? Продолжать учиться, где не столько учение важно, сколько осознание вот этого: чтобы учиться – вырываю у кого-то кусок хлеба; чтобы одеваться – вырываю у кого-то одежду; чтобы кормиться – тихим сапом «граблю» старушку с окоченевшей скумбрией в сумке; чтобы наслаждаться чтением философских пьянящих «открытий» – лелею в себе трутня и добровольного евнуха; чтобы существовать наконец – обкрадываю, обедняя существование других, ибо всем, что они создают, они вынуждены делиться и с такими, как я, которые пестуют в себе мысль, будто они стоят выше и дальше других, потому что они – мыслят, потому что они – высшая форма существования, форма осознания жизни. Ложь, ложь все это! Философия трутней и бездельников, философия блудящих в слове и в мысли!

Вот такой получился внутренний переворот в Егоре на двадцать первом году жизни.

Но разве мог он кому-нибудь объяснить свое состояние? Тем более объяснить в тех словах и понятиях, которые пришли к нему, сформировались отчетливо гораздо позже, когда он стал старше, опытней, серьезней?

Нет, конечно, не мог; даже себе до конца не мог объяснить всего, что только чувствовал и мучительно ощущал душой и сердцем: жить по-старому нельзя, стыдно, грешно, преступно...

Но для других-то – он оставался прежним Егором. И потому, когда в один прекрасный момент он бросил университет и пошел работать на завод учеником токаря, перейдя жить в

рабочее общежитие (домой, в Северный, он не поехал, нарочно остался в Свердловске, чтобы испытать себя, чтобы не слышать вокруг восклицательные и удивленные «ахи» и «охи»), для других-то действительно его поступок был не только непонятен, но – дик, абсурден. Для бывших одноклассников или товарищей по институту – просто очередной «выпендрей», одна из выходов «супермена» Егора Малицына, а вот для матери, для Нины Савельевны, обыкновенной рабочей Северного трубного завода, – это был страшный и неожиданный удар. Всю жизнь она положила на то (ведь отца у Егора не было, воспитывала сына одна), чтобы сын нормально рос, учился, кончил школу, поступил в институт (а ведь он глубже взял – в университет, на философский факультет поступил!), получил высшее образование, стал умным и прекрасным специалистом в своем деле, а потом бы женился, семью завел, порадовал мать на старости лет, – и вдруг бах: университет бросил, домой не едет, устроился на завод, живет в Свердловске, перебивается в рабочем общежитии, – да что с ним?! В уме ли он? Не спятил ли? Какая муха его укусила?

И вот – слегла мать Егора, Нина Савельевна: ноги отказали. До больницы дело дошло. И главное, никак не могла мать понять, чего такого худого сыну сделала, чтобы он мог так сурово «отблагодарить» ее? Конечно, она всю жизнь чувствовала какое-то проклятие на себе, ни мать Тося, ни отец Савелий не любили ее, даже помыкали ею, будто она была виновата, что не удалась их совместная жизнь: Савелий, лесник, почти всегда в избушке своей жил, под Красной Горкой, а мать тут, в Северном, но совершенно не обращала внимания на дочь, будто и не было ее на свете. Странные старики были, сумасшедшие... Может, оттого и забеременела Нина в семнадцать лет, сама не зная от кого (впрочем, Нина знала, да всю жизнь молчала об этом), что была как сиротинушка при живых родителях, а ласки ой как хотелось, и понимания, и человеческого участия... Так и поплатилась за свой безрассудный шаг: одна воспитывала Егорку, которого, надо сказать, не любили ни бабушка Тося, ни дед Савелий. Дочь не любили – и внука не замечали. Странно... Вот и вложила Нина всю свою душу в сына-сиротинушку, думала – человеком вырастет, гордилась им, а он – вон какую штуку выкинул... Может, наказание это Нине за всю ее грешную и тяжелую жизнь? И вот слегла она, ноги отказали... До больницы дело дошло.

Впрочем, месяц полежала – сбежала домой на собственных ногах. Ни матери, ни отца давно в живых нет, а хозяйство дома не ждет... И что удивительно: через два месяца ноги у Нины Савельевны совсем отошли, вновь себя вспомнила, может, даже и бойчей бегать стала, чем прежде, да и сердце у нее выровнялось, перестало пошаливать, – а причиной всего было то, наверное, что Егор не сдался в своем упорстве, наоборот – утвердился в мысли, что делает все правильно, да и мать заверил: «Учиться не вернусь! Хоть режь. Работать буду. Рабочим...»

Мать смотрит, он и впрямь неплохо работает, из учеников выбился в токари высшего разряда, получает хорошо, даже матери помогает, не пьет, не курит, не балует, серьезный, спокойный, вот только суров и молчалив не по годам, а так – ничего страшного. Авось перебесится малый? На это она и надеялась...

...Закончив окучивать (а окучивал он часа два кряду, не разгибая спины), Егор подошел к колодцу, достал полнехонькое ведро ледяной воды и, в чем был, не раздеваясь, окатил себя водой с головы до пят. Обожгло всего, как раскаленным металлом (аж паром задымилось тело), но лед и пламень – по ощущению – тут же прошли, и все тело Егора словно накрыло волной глубокого нутряного тепла, которое охватило, кажется, каждую клеточку, каждую потаённую глубинку могучего закаленного организма.

Егор стоял, мокрый, горячий, пышущий паром – и улыбался; он редко улыбался, надо сказать. И вот – улыбался сейчас.

Вскоре, сняв с себя мокрую одежду, зашел в избу, крепко и жестко растерся свернутым в жгут махровым полотенцем, и тело его еще больше заиграло огнем и жаром. Затем надел сухое белье, свежую хлопчатобумажную рубашку, простецкие рыбацкие штаны и, разогрев на

плите щи, сел за стол. Ни выпивать, ни закусывать не стал (хотя на столе оставалось еще после визита старшины милиции Паши Вострикова), а методично, размеренно, отламывая огромные ломти пахучего ржаного хлеба, начал хлебать горячие, остро отдающие приправой и красным перцем щи. Аж испарина на лбу выступила. Хлебал долго, методично; больше всего на свете Егор любил горячие наваристые щи и готовил их, естественно, всегда сам, с удовольствием готовил, со знанием дела, с любовью. У него могло не быть второго, бог с ним, но без щей, без борща или ухи – без этого он жить не мог. Наевшись (а съел он не меньше половины трехлитровой кастрюли), Егор вышел на крыльцо; яркое солнце садилось уже за дальний сосняк, и это было самое время, чтобы идти и ставить на Чусовой донки, жерлицы и вёрши (на Урале их называют «мордами»): по всем приметам – по красному кругу солнца, по ясной синеве далей, по паутинно дрожащему вблизи воздуху – ночью должен быть отменный клев, а значит завтра к утру будет хороший улов.

Егор начал собираться на рыбалку.

По тропе, которая вела от дома к реке, Катя с Георгием – удивительное дело – минут за десять добрались до прибрежной лужайки, до своего «Москвича»; значит, расположились они совсем недалеко от этого негостеприимного жилища с его диким, невменяемым хозяином. Может, он их перепутал с кем-то? Что плохого они сделали ему? Почему с такой яростью, ненавистью, бешенством он набросился на них? Нет, тут что-то не так, наверняка он принял их за кого-то, кто были его врагами. Но за кого? За каких врагов?

– Идиот какой-то, – бормотал Георгий. – Ненормальный...

– Чтобы так отвечать женщине... – чуть не плача говорила Катя, – нет, такого со мной еще не было...

– Да пропади он пропадом! Попался бы он мне в городе, я бы ему за такое... – храбрился задним числом Георгий, хотя знал: он просто-напросто испугался мужика, его натиска, напора, ярости. И от этого на душе было вдвойне погано – что испугался, спасовал. Но с другой стороны, что он мог сделать? Тем более они вошли в чужой дом без спросу, без приглашения...

Они быстро собирали в машину все, что оставили на поляне после завтрака: вилки, котелок, металлические тарелки, коробку с чаем, кружки; весь мусор сожгли, а золу аккуратно притоптали; вообще оставили после себя идеальный порядок, чтобы все выглядело так, будто и не ночевал здесь никто, не валил сухостой для костра, не обижал природу.

И вот, когда машина была готова к отъезду, Катя опустила на колени в прибрежную густую траву и, закрыв лицо ладонями, неожиданно разрыдалась. Она плакала и повторяла:

– Нет, мы не можем так просто уехать... Это какое-то предательство, предательство самих себя, Гоша... Что мы ему сделали? За что он нас? Как мы можем жить дальше, зная, что нам ни за что ни про что плюнули в самую душу? Мы должны выяснить, разобраться... Ведь мы всегда с тобой старались быть честными, справедливыми, и вдруг... За что, за что, Гоша?

Георгий присел рядом с ней, обнял, осторожно гладил ее волосы, пахнущие утренней рекой, и успокаивал:

– Не надо, Катюша, не плачь... Тут просто какое-то недоразумение... просто нелепость какая-то. Ну, что ты мучаешься? Мало ли идиотов на свете... Ты лучше вспомни: мы с тобой теперь вместе, навсегда... Вот что самое главное.

– Но как же, Гоша, – продолжала она плакать, – как мы будем после этого жить? Ты сам не раз повторял: главное – выяснить в человеческих отношениях все до конца, тогда не остается ни фальши, ни вражды, ни ненависти...

– Да, я говорил это, имея в виду наши с тобой отношения с Мариной, понимаешь? Там совсем другое... А здесь: да просто ненормальный попался, грубиян, человеконенавистник...

– Человеконенавистник? Откуда ты знаешь? И за что ему так ненавидеть людей, если он на первого встречного-поперечного бросается, как на врагов? Тут что-то не то, Гоша, понимаешь, я чувствую, что-то не так. И не можем мы просто уехать, не выяснив этого.

- Да что ты предлагаешь, маленькая? – продолжал он гладить ее и успокаивать.
- Может, нам вернуться к нему? Попробовать поговорить? Объясниться?
- Исключено! – наотрез отказался Георгий. – Ты разве не видела? Он ненормальный.
- Ты просто боишься, Гоша...

– Да, боюсь. Пусть боюсь. И не хочу скрывать от тебя этого! – Голос у Георгия зазвенел раздражением и обидой. – Ты знаешь меня: я не из трусливых, но «против лома нет приема», как говорят московские хулиганы. Мы к нему с беседой, а он нам головы проломит – что тогда? Откуда нам знать, что это за тип? Что у него в голове делается?

– И вот так, с плевром в душе, мы начнем нашу с тобой совместную семейную жизнь?! – Катя оторвала ладони от лица и с болью, с ужасом заглянула Георгию в глаза.

– Причем здесь наша совместная жизнь – и этот ненормальный?

– А при том, Гоша, что если мы сейчас уедем – нам плохо будет, мы словно бежим от какой-то правды, от какой-то ужасной тайны – без понимания, без попытки вникнуть в нее, принять или отринуть. Нас оскорбили? Унизили? И вот – мы бежим? Как же так, Гоша? Это не по-человечески... Ведь тебя дома, в Москве, сколько унижали и оскорбляли, – разве ты просто плюнул и уехал? Ты объяснился. А, объяснившись, ты снял грех не только с души Марины, но и нашей с тобой. Разве не так? Нельзя принимать оскорблений и унижений безответно – от этого умирает, нищает душа, разве я не права, Гоша? Ты хочешь жить по правде, и я полюбила тебя за это, за правду, за муки твои, и вдруг – не обращать теперь внимания на ложь и оговор? На беспричинную ненависть и недоброжелательность?

И Георгий задумался...

В самом деле, то, что соединило их вместе, его и Катю, было общее стремление к правде. Как он мучился когда-то, когда в первый раз изменил жене Марине, изменил именно с Катей, приехавшей в Москву в командировку в то самое министерство, где работал тогда и Георгий. Но оказалось – он изменил не жене, а изменил лжи, с которой мирился долгие-долгие годы. За двадцать семь лет жизни он так погряз в этой лжи, что не мог думать о себе, кроме как о пропащем человеке, и вдруг встреча с Катей, которая все перевернула в нем. Верней – все поставила на свои места. Оказывается, не он – лжец, а лжива та жизнь, которую он хочет во что бы то ни стало представить в своих и чужих глазах, как вполне добропорядочную и незыблемую семейную жизнь. Он женился на Марине в двадцать один год, только-только окончив институт, придя рядовым инженером в министерство черной металлургии, в котором Марина работала машинисткой. Он часто приносил ей разные бумаги на перепечатку, и вот так между делом, грустная и печальная, Марина поведала ему историю своей жизни, историю о том, какие бывают подлецы-мужчины и какие от этого получают страдалыцы-женщины и страдалыцы-дети. В семнадцать лет ее соблазнил референт министра, обещал золотые горы, а когда, естественно, она забеременела, бросил ее, сказав: «Мы так не договаривались». Сейчас ей двадцать, у нее на руках трехлетняя дочь, и хотя, слава Богу, министерство выделило ей однокомнатную квартиру, Марина считает себя самой несчастной женщиной на свете. Почему? Потому что обманута. Одинока. И не на что больше надеяться. Кому она нужна с ребенком на руках? О, она знала тогда, догадывалась, понимала, в какую душу вливает свой яд, потому что Георгий был ясен с первой минуты: вот человек, который страдает уже оттого, что кто-то страдает с ним рядом. И, конечно, сам того не понимая, не сознавая до конца, он однажды оказался в гостях у Марины, восхитился ее дочкой (прекрасная белокурая бестия с голубыми глазами и алым бантом в волосах), стал жалеть ее, как жалел и Марину, приносить подарки и куклы, и в конце концов, незаметно для себя, стал числиться в министерстве женихом Марины, после чего и деваться было некуда: женился на ней. Сколько прожили вместе? Шесть лет. За эти годы родился второй ребенок, сын Алешка, который был поразительно похож на сестру – такой же белокурый, голубоглазый и смешливый. Как радовался и гордился своим сыном Георгий! Сколько сил и труда, любви и преданности вложил в маленькую его душу! Но – уди-

вительное дело: чем больше он делал для семьи, для Марины, для детей, тем больше Марина помыкала Георгием. И не просто помыкала, а как бы ненавидела его, терзала за любую мелочь, за любую оплошность. Он понять ничего не мог, мучился, страдал, пытался объясниться с женой – только хуже выходило.

– Тут дело такое, – сказал ему как-то Володь-ка Першинов, знакомый художник, с которым они в детстве в школе-интернате учились, – не любят бабы дураков. Вот что.

– Я дурак? – не понял Георгий.

– Ты.

– Почему это я дурак? – Георгий не на шутку обиделся.

– А ты взглядишь в себя хорошенько. В зеркало посмотри.

Но взглядеться в зеркало, по мнению Георгия, надо было не ему, а Володьке Першинову: вечно пьяный, взлохмаченный, грязный, одни ухмылки да усмешки на уме, а результат? – ни семьи, ни детей, ни денег, ни одной настоящей картины.

– Художнику семья не нужна. Деньги не нужны. Слава не нужна. Ему свобода нужна. А вот что нужно любому мужику – это ум. Видеть надо вокруг, понимать кое-что, Гоша. Так-то!

Что-то похожее ему и на работе твердили, странные смешки он слышал иногда за спиной, какие-то намеки, слухи, сплетни вились вокруг него, как пчелы вокруг меда, он ничего не понимал, только удивлялся. И об этом своем удивлении и непонимании рассказывал Марине, которая, не дослушав его, приходила обычно в такую ярость, что даже глаза ее белели: «Нет, ты мне скажи, ты действительно идиот или только притворяешься блаженным?!»

Он ничего не понимал. То есть не понимал вот этого: от сплетен приходила в ярость жена или от его слов?

И тогда однажды, в пылу истеричного срыва, Марина закричала мужу:

– Даты посмотри, олух, посмотри внимательно, на кого похож твой любимый сын? Неужели можно быть таким идиотом, чтобы не видеть: он же вылитый Сергей Сергеевич!

(Сергей Сергеевич – это тот референт, который когда-то соблазнил Марину и от которого она родила Светлану.)

Вот так наконец открылась простая и страшная тайна: оказывается, и выйдя замуж за Георгия, Марина продолжала встречаться с референтом, о чем знали или догадывались на работе все, кроме Георгия (как в анекдоте: муж узнает последним); но анекдот – это анекдот, а жизнь – это жизнь. И свалила эта правда Георгия в постель: две недели лежал в больнице с нервным кризом, никак не мог уяснить до конца мысль, что Алешка – вовсе не его сын, а Сергея Сергеевича, по-прежнему аккуратного и исполнительного, ослепительного в своей белозубой улыбке референта министра.

Тогда-то, в больнице, Георгий и пришел к заключению, что жить по лжи – это преступление; жить нужно по правде. Но как жить по правде, если вокруг – одна ложь? Он не остыл к детям, не оттолкнул их, но что-то в нем надорвалось, какая-то струна счастья и удовлетворения жизнью в семье, с детьми, ради детей – лопнула.

Он ходил на работу, жил как во сне, приносил деньги домой, не запил, не загулял, но словно омертвел заживо, замкнулся, закрылся в своей душе плотно. Тогда он еще не пришел к выводу, что, как бы ни было тяжело в жизни, нужно выяснять отношения до конца, тогда ложь ломается и не остается между людьми ни фальши, ни вражды, ни ненависти... Это пришло к нему позже, и не к нему одному, а к ним с Катей вместе. Ведь в то как раз время, год назад, тяжелое, страшное время для Георгия, и приехала в министерство в командировку молоденькая инженерша из Свердловска; все вопросы – так совпало – пришлось решать ей с Георгием, и поразило ее в нем то, что он был совершенно не таков, как все: ни разу не сказал ни одного пошлого и двусмысленного слова, ничего не предлагал и ни на что не намекал, не шутил, не заигрывал, а был прост, вежлив, сосредоточен и в то же время – как бы за тысячи километров от всего, что творилось в отделе, в министерстве, вообще в мире. Он был бледен, худ, глаза

глубоко запали, и столько в них угадывалось страдания и муки, столько боли и горечи, что однажды Катя не выдержала и прямо спросила его:

– У вас случилось что-то тяжелое?

Он посмотрел на нее с непониманием, потом с удивлением.

– Да? – повторила она вопрос.

И поскольку он решил к тому времени, что ложь – преступление и что жить нужно по правде, ему пришлось искренне ответить:

– Да.

– Вы знаете, я замечала, – сказала она, – тот, кто страдает, становится очень красивым человеком. Вы удивительно красивый. У вас красивое лицо. И красивая душа. Да, да! – Она сама не понимала, почему, с какой стати, на каком основании говорит ему эти слова, и очень испугалась, что сейчас он может рассердиться и перестать разговаривать с ней.

А он смотрел на нее и ничего не понимал.

Какие странные, удивительные слова говорит ему эта молодая женщина. Кто она? Откуда взялась? Почему так разговаривает с ним?

– Я живу в Свердловске, вместе с бабушкой, – как будто услышав его, объяснила она. – И вот знаете, мне бабушка всегда говорит: главное в жизни – любовь, и назначение женщины – любить, но любить она должна только красивого душой человека.

(В то время, в прошлом году, бабушка Кати была еще жива, но вот недавно, весной, умерла; умерла с легким сердцем: она знала, – Катя открылась ей, – что внучка наконец встретила именно такого человека.)

– Как зовут вашу бабушку? – спросил тогда Георгий.

– Так же, как и меня, Екатерина, Екатерина Ивановна, – ответила Катя.

– У вас такая удивительная бабушка.

– Правда? – улыбнулась Катя озорной улыбкой.

– Правда.

С работы, из министерства, они вышли вместе, и направились в сторону министерской гостиницы, где жила Катя; отчего и почему, Георгий и сам не знал, но рассказал вдруг Кате все, что было его жизненным крестом и камнем.

– Ах, как хорошо, – сказала Катя, – что я никогда не видела ваших детей.

– Что же тут хорошего? – не понял Георгий.

– Когда видишь детей – их всегда жалко. Но жалость затуманивает правду о мужчине.

– Что же это за правда о мужчине?

– Правда такая: мужчина рождается для того, чтобы растить своих, а не чужих детей. Так мне всегда говорит бабушка.

Георгий, удивленный и пораженный, какое-то время молчал.

– Да, в самом деле, Катя, у вас необыкновенная бабушка, – наконец задумчиво проговорил он. – Я люблю своих детей. Но я жить не могу, места себе не нахожу, потому что они не мои. Я воспитываю чужих детей. Это страшно.

– Страшно не это. Страшно то, что и вы, и они – живете во лжи. Ложь разрушает жизнь, любовь, красоту. Ложь разрушает все. Вы не должны допускать этого.

– Но что я могу сделать?

– Вы сами недавно говорили: истина в том, чтобы жить по правде. Живите по правде.

– Да где эта правда?

– Вас должны любить, а не обманывать. И тогда родится ваш ребенок. Собственный. Ваш сын. В этом и будет счастье и правда жизни.

Он опять, в который раз за сегодняшний день, посмотрел на нее удивленно и пораженно. Сколько ей лет? Скоро двадцать два года. Странно...

Но потом, в течение долгого года, когда волна сближения неминуемо вынесла их на гребень взаимной любви, он все-таки страшно мучился, когда изменил жене Марине в первый раз. И хотя Катя горячо убеждала его, что он изменил не жене, а изменил лжи, с которой мучился долгие-долгие годы, он все же понимал: он изменил не только жене, но и как бы всей прежней жизни разом, подвел какую-то черту, пришел к какому-то первому итогу в жизни, и итог этот был малоутешителен: семья разрушена, дети чужие... И когда Катя, как озарение, предложила Георгию бросить все, уехать в Свердловск и начать новую жизнь, он не поверил, что есть, оказывается, и такой выход. Но бросить Москву? Квартиру? Семью? Детей? Он должен был всерьез поговорить с женой, чтобы она дала согласие на развод, он должен был выяснить с Мариной отношения до конца, чтобы между ними не осталось фальши, вражды и ненависти, и на весь его горячий монолог Марина ответила презрительным согласием-усмешкой: «Развод? Пожалуйста! Только не забудь про алименты – и катись на все четыре стороны! Можешь даже на дряхлом своем «Москвиче». А квартира и все, что накоплено за совместную жизнь, – мне и детям. Надеюсь, ты не против?!» Конечно, он был не против. Он сел в машину, посадил в нее Катю и помчался в Свердловск. Навсегда. В Катину однокомнатную квартиру. Но прежде чем он уехал, Володька Першинов, знакомый художник, с которым они когда-то вместе учились в школе-интернате, сказал Георгию, попивая водочку и не закусывая даже огурцом:

– А ты, оказывается, не просто дурак, а еще и подлец отменный!

Чего, конечно, Георгий никак не мог понять и очень поразился.

И взлохмаченный, небритый, не имеющий денег и славы, но любящий свободу художник объяснил ему свою мысль, не забывая при этом пить водку, которой на прощание угощал его Георгий.

– А подлец потому, дорогой Гоша, что правдолюбцы – они большие негодяи на поверку выходят. О, ты прав, конечно, и правда на твоей стороне, ты чист, Гоша, как детская слеза, но вот дети твои, Светка с Алешкой, они в вашей демагогии не разбираются: им что правда, что ложь – одинаково, им главное – ты их отец, они тебя отцом считают, папой называют, а ты...

– Но они мне чужие. Они не мои... Марина обманула меня... надругалась...

– А тебе, значит, главное, чтоб они из твоей капельки вышли? Чтобы обязательно из малюсенькой твоей капельки? А что ты сиротами их делаешь – это ничего? Они-то для тебя, может, и чужие, но ты-то для них – родной. Родной отец! Откуда там их мать взяла, из твоей или чужой капельки, они не знают, не ведают, не доросли еще, а вот что отец бросает их – это им понятно. Это им сердце рвет, Гоша!

– А мне – не рвет?

– Тебе – не рвет. Не рвет, раз правду свою так бережно лелеешь. Да и потом, Гошенька, не забывай, разве мало ты бывал и наслаждался в лоне жены своей?! А дети твои из того же лона вышли, оттуда же, откуда ты годами черпал уладу и каждодневное вдохновение. Так что правда твоя – с кровоточинкой. Ох, поплачешь еще, попортит тебе жизнь кровушку. Таких-то, как ты, которые с правдой носятся, как с писаной торбой, их жизнь крепко по голове бьет! Правдолюбцы – они хуже воров, обкрадывают жизнь, высасывают из нее живительные соки.

Слушал все это Георгий с оторопью, вроде понимая и не понимая Володю Першинова, но отступать и каяться было поздно – прощание неминуемо надвигалось... К тому же Катя не раз предупреждала Георгия, что тысячи людей будут говорить ему, будто он безумец, но слушать никого нельзя, потому что на лжи, какой бы она ни была – приглядной или чудовищной, нельзя построить ничьего счастья: ни своего собственного, ни счастья детей. И с этим Георгий был согласен.

Вот так они и уехали. Четыре дня назад. А вчерашнюю ночь провели здесь, на берегу Чусовой, – совсем немного до дому не добрались, до Свердловска.

И вот – эта неожиданная встреча с неменяемым – по-другому не скажешь – хозяином лесной избушки. Кто он? Почему с такой яростью и бешенством набросился на них?

– Идиот какой-то, – бормотал Георгий. – Ненормальный...

– Нет, мы не можем так просто уехать, Гоша, – как в заклинании повторяла Катя. – Это будет предательство, предательство самих себя. Что мы ему сделали? За что он нас? Как мы сможем жить дальше, зная, что нам ни за что ни про что плюнули в самую душу? Мы должны выяснить, разобраться...

– Что ты предлагаешь, маленькая? – пытался он ее успокоить.

– Может, нам вернуться к нему? Попробовать поговорить? Объясниться? Если мы сейчас уедем, нам плохо будет, мы словно убежим от какой-то правды, от какой-то ужасной тайны – без понимания, без попытки даже вникнуть в нее, принять или отринуть. Нас оскорбили? Унизили? И вот – мы бежим? Как же так, Гоша?!

И она уговорила Георгия: все-таки пока остаться здесь, у реки. Подумать. Взвесить все. Успокоиться наконец...

Да, к тому времени, к вечеру, когда Егор закончил окучивать картошку и начал собираться на рыбалку, он, кажется, совсем выбросил из головы сегодняшний приход участкового. Нечасто навещал его Паша Востриков, но все-таки визиты его раздражали, бередили душу. Чего шляется, спрашивается?

Хотя, с другой стороны, все понятно: о себе печется Востриков, о том, чтобы порядок и спокойствие были на его участке.

Ну, да ладно, черт с ним, хватит о Пашке думать!

Егор подхватил рюкзак со снастями, длинные ореховые удилища и, умиротворенный горячей работой на огороде, а затем сытным вкусным обедом, отправился по тропинке к реке.

Здесь, на Чусовой, у него много заветных мест, но все же больше других он любил одну прибрежную поляну: на излете ее река делала крутой поворот и утекала в долгие видимые дали голубой извилистой змейкой; сядешь на поляне, забросишь удочку, а сам смотришь то на эту убегающую ленту реки, то на противоположный ее берег, где – редко для здешних, заросших черемушником мест – открывались широкие густотравные луга, усыпанные, как вот сейчас в июне, бело-желтыми ромашками. Удивительно смотреть, как в ранний предбудный час, когда трава омыта росой и луга на том берегу сплошь зеленые, они, эти луга, начинают преобразаться, как только над излучиной реки подымается солнце: ромашки, к ночи закрывшие свой желто-белый наряд, с первыми лучами солнца вновь расправляют белые широкие лепестки, лукаво и игриво выглядывая из своего бело-веерного оперения. Или, наоборот, к вечеру, с заходом уставшего за день солнца, начинают прятать желтые головки в белых лепестках, а потом и вовсе закрываются зеленым исподним опушьем, и весь луг, будто и не было на нем никаких ромашек, вновь превращается в одну колышашуюся зеленую ниву.

На этой поляне, на излучине Чусовой, Егор обычно ставил несколько вёршей-плетух – на разной глубине. А корм набивал самый пестрый: от густоароматного распаренного гороха или разваренного геркулеса до обычной хлебной корки или связки крупных дождевых червей; оттого и рыба шла к нему всякая: от лещей и язей до окуней и ершей.

Вот и в тот раз, придя на заветное место, Егор в первую очередь управился с плетушками, забросил их на разную глубину по всей линии прибрежной низины; кстати, кто не знает, никогда не найдет вёрши: колышки, к которым Егор привязывал бечевку, он вбивал так, чтобы они были не на берегу, а в воде, и чтобы полностью скрывались в ней; так учил делать еще дед Савелий, в далеком детстве, и казалось внуку, что он совершенно не помнил этого, а вот пришлось жить одному, на реке, в дедовой избе, и сразу все вспомнилось, выплыло из туманной дали подсознания ли, памяти ли родовой – кто знает?..

Управившись с плетушками, Егор отошел в сторонку, поднялся на небольшой взгорок, где под густым черемуховым кустом, склонившимся над Чусовой, спрятался тихий и глубокий омут; здесь-то и любил Егор посидеть с удочкой, потаскать на червя или на мотыля крупного

темно-полосатого донного окуня. Вот этого, донного окуня, особенно любит щука (щука глубинная и аршинная), которая таится не в траве, а в ямках и в забережных расщелинах: бывало, и до десяти килограммов попадались щуки на Егоровы жерлицы – и именно на донного окуня. Их, этих окуней, Егор ловил этак с дюжину, сажал в садок, потом пробирался тропой по густым прибрежным зарослям, где в укромных и постоянных местах были спрятаны похожие на удилица, но покрепче, подлиннее, жерди-хлысты, к концам которых он и привязывал накрепко рогульки-жерлицы. Окуня не цеплял за губу или, того хуже, за спину, а «подшивал»: металлический поводок просовывал окуню под жабру, кольцом соединял поводок с крупным крючком-тройником, а свободный конец поводка, связанный с леской и идущий как бы вдоль окунева хребта, иголкой с ниткой буквально «пришивал» (одним-двумя стежками) к мясистому устью спинного плавника; сам окунь оставался цел и невредим и, главное, когда рвался в воде на свободу, совершенно не изранивал себя, не терзал свою плоть и мог оставаться живой лакомой приманкой для щуки долгие дни и ночи...

...Клев шел азартный; не успевал Егор насадить червя и забросить крючок в омут, как поплавок начинал мощно и резко подрагивать, а затем, только зазевайся, разом уходил в далекую глубину реки. Конечно, если ловить окуня не для жерлицы, лучшего ничего не придумаешь: дай ему хорошенько и наслаждённо заглотнуть наживку и тащи наверняка. Но в том-то и дело: для жерлицы окунь нужен такой, который не заглотит червя, а только-только, как говорится, заложит его за губу, – тут-то и надо дергать! При такой ранней подсечке с крючка сходит, пожалуй, каждый второй, а может, и более частый окунь, но зато если вытащишь вовремя подсеченного окуня – он-то и есть самый первый живец на жерлицу. На эти случаи у Егора обычно два ведерка-садка: один – для верных живцов, едва прихваченных крючком за губу (эти будут жить долго), второй – для окуней, которые в жадности и азарте успели заглотить червя глубоко (эти умрут – или, на рыбацком языке, «уснут» – быстро).

Так Егор и сидел: слева прибывало ведерко окуней для ухи, справа – для жерлицы; справа, конечно, медленней: там не только поживей, но и покрупней окунь нужен, потемней, самый, как говорится, из донный.

Наконец, наловив живцов сколько надо, Егор подхватил правое ведерко, рюкзак с жерлицами и по тропинке нырнул в кусты. Черемушник нещадно хлестал по лицу, но Егор только усмехался. Вообще к физической боли или лишениям он относился поразительно – как бы вовсе не замечал их. Или даже наоборот – шел им навстречу с улыбкой, с вызовом. И лицо, и руки, и ноги – все у него было в ссадинах, царапинах или в кровоподтеках, а ему хоть бы хны.

У первого же хлыста-жердины Егор широкой ладонью черпанул из ведра самого крупного окуня, «подшил» его и, петлевым узлом привязав жерлицу к пружинистому концу хлыста, накрепко воткнул жердь в глинистый податливый берег. Окунь, обезумевший в свободной стихии воды, отчаянно рванулся в глубину реки, но не тут-то было – крученая леска властно держала его в плену, и тонкое, но крепкое охвостье жердины заплясало-задергалось под резкими рывками окуня. Егор улыбнулся: «Давай, давай...». Живец ходил кругами, то забирая в глубину, то выныривая в поверхностные струи реки, но вырваться из плена не мог, что-то упорно мешало ему, и он на время смирялся, начинал хитрить: вставал головой точно против течения, осторожно и тихо-однообразно работая хвостом и спинным плавником, и, главное, старался держаться в тени какого-нибудь побега водорослей, которых, конечно же, было немало в Чусовой. «Хитри-хитри», – усмехнулся Егор, теперь зная наверняка, что жерлицу поставил удачно: и глубина хороша, и окунь понапрасну не рвет жабру, успокоился.

От первой Егор пошел ко второй жерлице, от второй – к третьей, и так по всему берегу расставил жерди-хлысты, с висящими на них жерличными роготульками. Главный секрет был один: чтоб угадывалась омутовая глубина и чтоб травы вокруг кипело поменьше. Тогда и окунь не запутается, и щука, если возьмет, не замотает леску в водорослях.

А когда, расставив жерлицы, Егор вернулся к полянке, уже начали синеть сумерки. Взмахнув пару раз топором, Егор нарубил сушняка и развел небольшой костерок у изножья взгорка, с подветренной стороны, – на всегдашнем своем месте. Сколько жил здесь и сколько рыбачил, постоянно устраивал костер на этом пятачке. Тут и тихо, и не ветрено, и вода совсем рядом. И кажется порой: широкими отблесками костра горит-пылает сама текущая река, а луна над потубережными лугами обливает вечерние и ночные травы золотистым светом. Где-то ухнет филин, где-то треснет сучок, где-то журчит-спотыкается о камень незасыпающая Чусовая – вот и все звуки ночного времени; а как только разгорится покрепче сушняк, займется полешко потолще, поосновательней, так и эти звуки отступают в сторону – горит-потрескивает гулко костерок. Он горит и потрескивает, а ты варишь ушицу, и на огонь смотришь, и думаешь – думаешь о многом и как бы ни о чем, и так хорошо, спокойно на душе, столько умиротворения, непривычной улады сердцу, что и не верится: ты ли это, с тобой ли, бедолагой, такое происходит?

Запалил и сейчас Егор костер, повесил на поперечину ведро и, казалось, враз забулькала, забурлила водица. Бросив в ведро нарезанную тонкими пластинками картошку и горсть пшена вместе со специями (перец-горошек, лавровый лист и соль), Егор дождался, когда вода закипела вновь, и запустил в ведро заранее очищенных широких полосатых окуней. Через пять минут уха была готова; увесистой деревянной ложкой, больше похожей на малую поварёшку, Егор выловил окуней с перламутрово-побелевшими глазами и сложил их на отдельную плоскую тарелку; сладкой же и наваристой ушицы начерпал в глубокую миску; и пока уха остывала, он ел рыбу, точными верными движениями, в несколько приемов, отделяя мясо от костей и хребтины. Потом хлебал бульон; сладко чмокал; жмурился; даже постанывал от удовольствия.

Господи, сколько он жил – двадцать шесть лет! – и жил неверно, лживо и затемнённо, и вот только второй год, кажется, живет истинно, в праведном труде и праведных заботах, все добывая собственными руками и ни от кого ни в чем не завися. Долго, слишком долго он шел к этому, к своему пониманию, к своему назначению: жить так, как должен был жить от рождения, но чересчур темна и извилиста оказалась его дорога...

Ведь пять с лишним лет, с двадцати одного до двадцати шести лет (когда бросил в гордыне и упрямстве университет; и правильно сделал, что бросил) он тоже работал – и как самозабвенно работал! – и все-таки там, на заводе, не нашел того, что должно было стать его и только его жизнью.

Почему?

Егор подбросил в костер дровец, сходил к реке, помыл ведро, поставил кипятить воду для чая...

Как тут однозначно ответить – почему?

Он не просто работал токарем, он стал виртуозом в своем деле; и стал таковым потому, что у него был страстный стимул: доказать себе – прежде всего самому себе, – что он не дармоед, не бездельник, не сотрясатель слов, не философ-пустышка, не прожиратель чужих богатств, а – созидатель, создатель чего-то такого, без чего нет жизни на земле, а именно – материальных ценностей. Как он гордился собой и своими товарищами, простыми работягами, которые были скупы на слова, были грубы, черны, просты, но были настоящими людьми, и без их рук, без их работы все остановится на земле, все обнищает, обветшает и развалится... Не на слове держится мир – мир держится на человеческих руках. Вот что он понял! И понял не так что бы уяснить эту простенькую, на первый взгляд, мысль за месяц, за год, за три года – и отступить: мол, с меня довольно, я все понял, а теперь дайте мне пожить в свое удовольствие, теперь ваша очередь... Нет, он понял это хребтом своим, кожей, нутром, сердцем, и почти шесть лет не отступал от своего понимания, потому что за этим пониманием стояла правда, а не легкая и временная блажь.

Почти шесть лет он жил в рабочем общежитии.

Почти шесть лет, изо дня в день, Егор показывал чудеса мастерства и искусности на токарном станке; если надо, оставался во вторую смену; если надо – работал в выходные дни. Давно привыкли к его фанатизму, давно забыли, что когда-то – и довольно долго – принимали его за чужака, за чокнутого философа, за «маменькиного» сынка, даже за пришибленного идиота, – за кого только его не принимали! – а он, стиснув зубы, работал. Он работал так, что многие всерьез думали: уж не чокнутый ли, в самом деле, рядом с ними? Он не обращал внимания. Ему надо было, чтобы они забыли, кто он и откуда пришел, чтобы они не только признали его за своего, но чтобы и действительно он стал им своим, и долго, очень долго шла эта изнурительная борьба гордыни со смирением, самолюбия с правдой. Когда его признали наконец своим? Нет, не через год, не через два и не через три года. Может, лет через пять только забылось, не припоминалось ему, откуда он такой взялся, с какой луны или солнца свалился, будто и в самом деле он оказался у токарного станка с рождения, для него, для станка, только и был предназначен. Значит, лет в двадцать шесть он полностью растворился в рабочей массе, перестал принадлежать себе и главное – не хотел принадлежать себе; он почернел, огрубел, стал мощным здоровым детиной, после получки, как все, вдребезги напивался, на другой день, с похмелья, еле-еле тянул план, а бывало – загуливал и по несколько дней не выходил на работу, и ему прощалось (хотя завод был «номерной», секретный), потому что считался уже «золотым фондом рабочего класса». Теперь не на него, а он на других смотрел свысока и с усмешкой. А после работы жил мрачной, тяжелой, угнетенной жизнью, ему совсем не нравилось напиваться, но он напивался все чаще и чаще, потому что нельзя было обижать друзей-товарищей – таковы были правила жизни, обычаи будней. Ему нравилось только одно – работать. Может, кто-то не поверит, но только работа, сосредоточенная, изнурительная и однообразная работа, когда ты по восемь часов стоишь у станка, только работа и нравилась ему, была по душе.

Однажды он вполне отчетливо осознал: после работы ему никуда не хочется идти – ни в общежитие, ни в город, и если бы можно было, он бы продолжал работать и во вторую, и в третью смену; вообще никуда бы не уходил с завода. Эта мысль и удивила, и насторожила его. Насторожила потому, что, значит, опять в душе появились признаки раздвоения, которого в принципе не должно быть в рабочем человеке. Он – рабочий – единственное существо на земле, которое вправе не только гордиться собой, результатом своего труда, но и вправе не знать мучений раздвоения личности.

Чтобы чувствовать себя рабочим, Егор должен был жить, как все его товарищи; вот почему, когда после работы пили, он пил вместе со всеми; когда отправлялись в баню, ездили в дома отдыха, играли в карты, ходили на танцы, любили первых попавшихся бабенок, – он делал все так же, как все, а если бы не делал, его никогда бы не признали своим и никогда бы он не смог полностью раствориться в рабочей стихии; раствориться нужно было еще и для того, чтобы перестать принадлежать себе.

Да и женщины, которые с определенного времени начали бывать с ним все чаще и чаще, эти женщины были похожи, как близнецы, и не потому, что действительно походили одна на другую (о, внешне все они, к счастью, были очень разные!), а потому, что смотрели на мир, на мужчин и свое место в жизни совершенно в одинаковой плоскости. Если ты работага, значит – тебе главное заманить меня к себе в комнату, хорошенько выпить и поильней напоить меня, говорить грубо и нагло, можно и материться, потом затащить в постель, сделать все быстро, без нежностей и всяких там ласковых слов, хлопнуть смачно по ядреной заднице и отныне считать тебя готовой на это дело в любое удобное для обоих время. И женщина подыгрывает мужчине, она своя в доску, тоже шумная, грубая, пьяная, если нужно – бесстыдная, раз тебе так хочется; и подыгрывает потому только, что по-иному к мужику не подберешься, не войдешь в его жизнь и не станешь ему нужной. Не хочешь, как хочет он? – останешься совсем одна, и жизнь растопчет тебя, размозжит на кресте одиночества. И женщина подыгрывает, теряет себя, свое лицо, голос, нежность, но теряет не понапрасну: в любом случае ей главное – стать

тебе нужной, а потом захомутать, заарканить тебя покрепче, женить на себе, и тогда, конечно, отольются кошке мышьины слезы. Сколько их, этих рабочих семей, повидал за шесть лет Егор – и везде одно и то же: крики, грубость, склоки, драки, пьянки, измены... С тремя такими женщинами едва было не соединил судьбу и сам Егор, но что-то в последний момент останавливало его. А не должно бы останавливать, если бы он в самом деле растворился, как мечтал, в рабочей среде до последнего донышка. Люська-контролерша, последняя его любовь, кричала ему в подъезде общежития, кричала громко и нахраписто, чтоб все слышали:

– Пидар ты, а не мужик! Другой бы убил бабу, застань ее с другим, а этот – с цветочками лезет. Тьфу!

Было дело, застал Люську с товарищем по комнате, с цветами как раз пришел, – ну, что было делать? По обычному сценарию – мордобой устраивать, а он спокойно хризантемы на кровать положил.

– Поздравляю, – говорит, – от всего сердца! – И вышел.

Плюнул в душу – вот что он сделал, – уж не чужак ли в нем проснулся? Свои так не поступают...

И пришлось однажды понять Егору, что хоть шесть, хоть сто лет работай он на заводе, никогда ему не преодолеть тоски и пропасти, которые существуют между двумя странными и страшными полюсами: временем, когда ты работаешь, и временем, когда ты свободен. Оказывается, рабочий человек, которому поклонялся Егор, поклонялся истово, искренне и справедливо, этот человек прав только тогда, когда он работает. Когда он работает – он царь. Он истина. Он правда. И все, что есть в мире, – все от него. Но как только он уходил от станка (и как глубоко, драматично Егор испытал это на себе! – только долго не сознавал правды) – так вдруг оставался рядом с пустотой, с пропастью, которые и поглощали его. Человек знал, *что* он такое, когда работал, и совершенно не понимал, *кто* он такой, когда был свободен. Он был так же велик в работе, как ничтожен в досуге, – отсюда яркость созданного материального мира и нищета духовной жизни. Вот трагедия-то в чем! – ужаснулся однажды Егор. Он хотел приобщиться к истине – и приобщился к ней, а вместе с истиной хлебнул и новой лжи, нового обмана и пустоты – и ужаснулся!

Если не в философии, не в словах, не в понимании мировых законов истина – то и в создании материальных ценностей истины тоже самой по себе нет!

Одни болтают, другие работают, но ни те, ни другие не есть истина. Все люди – ложь, каждый несет в себе отраву и суету, гордыню и самолюбие, обольщение и обман. Человек не стал еще человеком, а уже предъявляет миру непомерный счет, оставаясь в духовном своем развитии на уровне неандертальца. Кто я сам? – спросил себя Егор. И ответил: неандерталец. Но неандерталец, который осознал это. Я чувствую себя обманутым, потому что люди, и те, которые болтают, и те, которые работают, – полны самообольщения, им кажется: они живут по правде и истине, потому что иначе и быть не может, а на самом деле о правде и истине говорить смешно, потому что они и людьми-то еще не бывали и не живали.

И то раздражение, которое испытывал Егор в последнее время к своим товарищам-рабочим (хоть и совестно было признаваться в этом даже самому себе), и тот стыд, который жег его, когда он был студентом университета и чувствовал себя пожирателем чужого богатства, бездельником и нахлебником, – теперь все это соединилось в нем в одно всепоглощающее чувство – чувство неожиданной и яростной ненависти к людям.

Ненависти за обман и самообман.

За грубость, глупость и несправедливость жизни.

За ложь.

За то, что, какой бы человек ни был – добрый или злой, работающий или бездельник, он – далек от того, чтобы называться человеком.

Вот что случилось с Егором в двадцать шесть лет: он возненавидел людей!

Он ненавидел злых и тупых.

Но хороших и добрых ненавидел не меньше.

Хороший и добрый человек нейтрализует нас, не дает оценить себя адекватно тому, что делает, чем занимается, по совести ли живет (чаще всего плохо, лениво и трусливо живет) – оттого Егор с еще большей ненавистью и раздражением относился именно к внешне добрым и хорошим людям (которые как бы заранее предупреждают: «Мы вот такие, хорошие и добрые, не трогайте нас, не надо...

грех...»), а злые, тупые или негодяи – те хоть не претендовали на снисхождение, и Егор относился к ним, как ни странно, лучше, хотя и их тоже презирал и даже ненавидел... Всех ненавидел, всех не любил! – вот в чем странный фокус-то.

И вот так, в двадцать шесть лет, Егор неожиданно ощутил, что в своей нелюбви к людям он вполне может совершить какое-нибудь безрассудное преступление – просто взять и ухлопать человека, любого, который вызовет в душе именно эту реакцию – раздражение, презрение или ненависть к себе.

Как же так получилось?! – недоумевал он. Хотел правды и истины, труда и справедливости, а пришел вон к чему – к человеконенавистничеству. Как же так?!

Чуть с ума не сошел от этих размышлений, от явного парадокса и противоречия.

И, конечно, совсем не случайно, наверное, вспомнился ему в этой ситуации дед Савелий, который долгие годы жил отшельником, прятался от людей в лесниковой избушке километрах в двух от небольшой деревушки Красная Горка, жил угрюмо, молчаливо и таинственно. Да и прозвище у него было странное – Азбектфан. Может, и с ним творилось нечто похожее, что происходит сейчас с Егором?

Да, да, чтобы любить людей, прощать и понимать их, надо жить вдали от них, на расстоянии, – надо испытать себя... Нет, даже не так. Просто каждый человек, прежде чем судить да рядить людей, должен вначале стать самим собой, найти себя, определиться, а для этого не миновать жизни в одиночестве и сосредоточенности на самом себе, чтобы научиться жить в ладу и в мире с собственным сердцем. Только тогда, может, наполнится светом и пользой душа, наполнится пониманием и спокойствием, а когда наполнится – тогда и нужно, и можно идти к людям.

Иного пути, чтобы любить людей, не найти; все другие пути ведут к ненависти и раздражению.

Сначала – сделай себя сам, стань человеком; в одиночестве, в сосредоточенности размышлений и упорстве личного труда обрети покой и понимание жизнеустройства – может, и станешь человеком, ухватишь истину.

Вот к чему пришел Егор; вот почему не сошел с ума, а принял решение: бросить все, уехать из Свердловска и поселиться в лесниковой избушке деда Савелия; жить отшельником, день и ночь трудиться, и не как на заводе – в определенные часы, когда душа действительно умиротворена, а после работы только мается и мучается бездуховностью, – а трудиться денно и ночью и руками, и душой одновременно, обрести единение, найти в себе нечто неразрывное и целостное.

Он так и сделал. И по-другому поступить не мог, чтобы быть здорову и живу, а не медленно гореть на огне саморазрушения.

Но, конечно же, его выходку, его поступок не понял никто; тогда, когда бросил университет, тогда можно было считать это молодой блажью, дурью, позерством, а теперь... а теперь назвали его просто сумасшедшим. Бросил все: завод, работу, большую зарплату, прописку в Свердловске, отдельную комнату в общежитии (через год обещали дать, как передовику и лауреату многих профессиональных конкурсов, однокомнатную квартиру), – все бросил. И уехал не в Северный, не у матери поселился, а в убогую деревушку подался, на Красную Горку, и

даже не в деревне дом занял, а забрался в лесную избушку деда Савелия, на отшибе устроился, будто спрятался от кого.

Нет, определенно сошел с ума!

И опять думали: это у него временно, блажь и дурь, но вот уже два года он так и живет в лесу, в избушке своей, почти безвылазно, только раз в неделю ходит на Красную Горку, хлеб покупает, остальное все у него свое, домашнее, хозяйское, трудовое.

...Егор напился крепкого, уваристого чаю, в который обязательно бросал несколько веточек молодой душицы, а иногда – для здоровья – и зверобоя, и, подложив под голову фуфайку, лег ногами к затухающему, как бы медленно тающему красными угольками костру. Звезды высыпали густо и ярко, словно кто нарочно выткал над головой звездный ночной ковер с золотым месяцем в правом углу; ни шороха, ни звука кругом, одна сияющая бездна, и такой покой, умиротворение нисходят на душу, что чувствуешь, будто ты не грубый и взрослый мужик, а всего лишь малый ребенок, замороженный полуночной красотой мира. Человеку не бывает плохо, когда он один на один с природой – правда, когда он наедине с мирной природой; да если еще рядом река, костер, хорошая ушица или умело заваренный чай... Так и Егору: было ему сладостно и умиротворенно, и он давно понял, что двадцать шесть лет, которые он прожил, прежде чем поселиться здесь, он прожил как бы готовясь к тому, чтобы обрести и благодать эту, и свободу, и красоту, и простор. Сколько он заблуждался, сколь многого хотел и сколь дерзко относился к жизни, а она – вот она, и не надо ничего другого, только бы не мешал никто, никто не нарушал этой гармонии, этого странного и полного единения и с миром, и с природой, и с самим собой.

Почти каждый день, после дневных трудов, а трудов было множество и на огороде, и в лесу, и по дому, Егор уходил на Чусовую, рыбачил, ставил вёрши и жерлицы, устраивал ночной костерок, любил сварить уху и напиться чаю, а потом вот так полежать на траве-мураве, посмотреть на звезды, послушать реку, всплеск неожиданной рыбы, вскрик ночной птицы, – и всем этим наслаждаться и знать, что все это – твое, истинно твое, ни у кого не украденное, ни у кого не заемное, и ведь ничего, совершенно ничего не надо из того, что прежде считал необходимым, все это глупость, блажь и суета, то есть все это – ложь, а правда – вот она, весь этот удивительный и ночной, и дневной мир, который твой, только твой и ничей больше.

Да, думал Егор, я могу назвать этот мир своим, я отрекся от всего, чему поклонялся, и поклонился всему, что отвергал. Так или не так? И

значит, это мой мир в действительности...

С этими мыслями Егор и задремал, и если б кто мог посмотреть на него сверху, с какой-нибудь звезды, то увидел бы, как он тихо, едва приметно улыбался во сне и иногда слегка вздрагивал от умиротворения и улады осмысленной праведной жизни.

А когда он очнулся, костерок почти прогорел, а босые крупные ноги его изрядно озябли. Встряхнувшись ото сна, Егор быстро собрал снасти и вещи в рюкзак, подхватил удилище и вот так, босой, быстро пошел по знакомой и легко угадываемой в кромешной темноте тропинке домой, в избушку.

Спать завалился легкий, удовлетворенный прожитым днем; и спал всегда крепко, хоть и недолго – с утренней ранней зорькой подымался и шел обычно на Чусовую, проверять вёрши и жерлицы. Вот и завтра, как всегда, отправится прежде всего на речку (какой завтра – сегодня уже) – погода обещает хороший улов.

А утром, у реки, Егор глазам своим не поверил: в черемуховых кустах, у самой воды, прятался красный «Москвич»!

Бесшумно, как осторожный зверь, Егор юркнул с тропы в густоту окружающих зарослей, присел на корточки и, невольно сдерживая дыхание, начал пристально наблюдать за «Москвичом». В машине, однако, не было заметно никаких признаков жизни.

С реки, с крутой ее излучины, дымно клубился туман; и «Москвич», густо-влажно облитый утренней росой, казался нереальным в белесом тумане, казался красным матово-расплывшимся пятном.

Какое-то время Егор прятался в зарослях черемушника, но вот мягко, как кошка, начал ввинчиваться в прогалы кустов, тихо-незаметно приближаясь к «Москвичу». Подкравшись совсем близко, привстал на цыпочки и заглянул в заднее окно: там, в машине, полулежа, спали в обнимку мужчина и женщина.

«Вас тут только не хватало...»

Так же мягко, как прежде, Егор вильнул в кусты и вскоре выбрался на тропу, по которой только что вышел к излучине Чусовой. «К жерлицам, может, сходить? Жерлицы проверить?!» Но махнул рукой – утренняя зорька была испорчена.

А днем, когда Егор услышал, как к избушке приближаются незнакомые люди, переговариваясь друг с другом вольно и громко, он сразу понял: они, те двое... больше некому тут шляться. И все в нем разом напряглось, насторожилось; он терпеть не мог, когда кто-нибудь нарушал размеренный, установленный ритм его жизни. Уж если Паше Вострикову, участковому, не делалось скидки, то чужим и подавно не было снисхождения. И когда они сначала топтались на крыльце, а потом вошли в сени, а потом открыли входную дверь, Егор уже с ног до головы кипел яростью и негодованием. И лишь страшным усилием воли сдерживал себя, ничего не отвечал и не говорил на все их «Здравствуйте», «Простите, мы тут землянику собирали», «Можно ли у вас воды напиться?..» Но когда мужик почти закричал:

– Эй, товарищ, вы что, не слышите нас? – тут-то Егор и не выдержал, взорвался:

– Не ори! Не глухой!

Сразу присмирели пташки, заговорили по-другому.

– Простите, не дадите ли напиться? – тиховежливо попросила женщина мягким и нежным голосом. Но не знала она, что Егор терпеть не мог мягких и ласковых голосов всех этих добрых и хороших людей, как сами они почему-то думают о себе, – и потому услышала в ответ: «Пошли вон!»

– Вон пошли! – зарычал вдруг хозяин и, повернувшись к ним от окна, в которое до этого смотрел сосредоточенно-угрюмо, набычившись красной от напряжения шеей, с яростью повторил: – Вон!

– Но простите, но мы... – залепетали было они, но Егор поднялся с табуретки и медленно пошел на них:

– Нс реки чтоб убирались! Ясно?! А не то я вас... – Глаза его горели бешенством – черные, угольные глаза. Узкое, продолговатое лицо с мощно выпирающим подбородком налилось сероватой бледностью, губы побелели. И странным для них, и страшным контрастом к лицу показалась широкая ярко-синяя лента, которая опоясывала его голову с длинными, как бы завитыми на концах, черно-смоляными волосами.

Егор пошел на них, сжав кулаки, и они невольно попятнулись. Он с яростью приближался к ним, а они, как под гипнозом, пятились, так и вышли – задом – на крыльцо, и по крыльцу спускались задом, потому что он продолжал идти на них, словно вот сейчас, на месте, хотел придушить обоих; женщина сбила ногой ведро с земляникой, и оно покатилося по крыльцу, рассыпая за собой красно-красную дорожку, – пятясь, они топтали ягоды, которые истекали под тяжестью их ног спелой и налитой сочностью.

А кружка эмалированная, которая тоже была с ними, так и осталась стоять на крыльце; без ягод, без воды.

И только ухмыльнулся им вслед Егор, но долго не мог успокоиться...

А они так и не уехали с реки. Эта неожиданная встреча с невменяемым – по-другому не скажешь – хозяином лесной избушки заворожала их, привела в оторопь. Кто он? Почему с такой яростью и бешенством набросился на них? Нет, тут что-то не так, наверняка он принял их за кого-то другого, за каких-то своих врагов. Но почему? За каких врагов?!

– Нет, он идиот. Он просто ненормальный, – бормотал Георгий.

– Чтобы так разговаривать с женщиной? – чуть не плача повторяла Катя. – Нет, такого со мной еще не бывало...

– Да пропади он пропадом! Мало ли идиотов на свете? Надо просто ехать – и все...

– Но как же, Гоша, – повторяла она, теперь и не скрывая слез, – как мы будем после этого жить?

Ты сам много раз говорил: главное – выяснить в человеческих отношениях все до конца, тогда не остается ни фальши, ни вражды, ни ненависти...

– Но я имел в виду совсем другое. Имел в виду отношения между собой нормальных людей, а здесь... Да просто чокнутый попался, шизик, грубиян, человеконенавистник.

– Человеконенавистник? Откуда ты знаешь? И за что ему так ненавидеть людей? Нет, Гоша, тут что-то не так, понимаешь, я чувствую, здесь что-то не так... И не можем мы так просто уехать, Гоша, это будет предательство, предательство самих себя и своих принципов, – как в заклинании повторяла Катя. – Что мы ему сделали? За что он нас? Как мы сможем жить дальше, зная, что нам ни за что ни про что плюнули в самую душу? Мы должны выяснить, разобраться... Ведь мы всегда с тобой старались быть честными, объективными, справедливыми – и вдруг... За что, за что, Гоша?

– Что ты предлагаешь, маленькая? – попытался успокоить Катю Георгий.

– Может, нам вернуться к нему? Попробовать поговорить? Объясниться?

– Это нереально!

– Но если мы сейчас уедем, нам плохо будет, Гоша. Мы словно убежим от какой-то правды, от какой-то ужасной тайны – без понимания, без попытки вникнуть в нее, принять или отринуть. Нас оскорбили? Унизили? И вот – мы бежим? Как же так, Гоша?!

И они остались.

К вечеру Егор решил-таки проверить плетушки и жерлицы...

Но каково было его изумление, когда, выйдя с тропы на лужайку, выйдя смело, уверенно, как и подобает хозяину здешних мест, он увидел в кустах все тот же проклятый красный «Москвич», а рядом – мужчину и женщину, которых... которые... Кровь хлынула Егору в голову, и он пошел на них, почти рыча:

– Да вы что, мерзавцы! Я же вам сказал. Я же предупреждал вас... – Он подходил к ним медленно, с широко растопыренными руками (словно и руки были в изумлении), а они, как загипнотизированные, сидели на траве и невольно прижимались друг к другу. – Я же предупредил тебя, козел, – Егор схватил Георгия за куртку, у самого горла, и, как пушинку, приподнял над землей, – чтобы и духу вашего здесь не было... А ты...

– Но позвольте, – начал было Георгий, отдирая клешни Егора от скрученной в жгут куртки, – кто вы такой, чтобы...

– Что?! – взревел Егор. – Я здесь живу, я хозяин... А вот вы, козлы, что тут делаете? Какого хрена ездите? Что надо на этой земле, а?! – Он изо всех сил тряс Георгия за грудки. – И так обосрали все вокруг, жить нечем, так еще ездят на своих машинах, лезут в любые щели, как тараканы, только чтоб испортить, изгадить, испоганить... Кто вас звал сюда? Кто позволил лезть в чужую жизнь? Кто просил приезжать на это место?

– Но у нас, кажется, нет монополии на землю... – бормотал в испуге и растерянности Георгий. – Каждый может приехать, куда хочет, не запрещается...

– Что? Что ты сказал?! – еще сильнее, иступленней стал трясти его Егор. – Да я здесь каждую травиночку вынылчил, каждую пядь земли потом полил, каждую извилинку Чусовой

берегу и лелею, а вы, мерзавцы, приезжаете на машинах, делаете что хотите, а потом уезжаете?! Да ты свой, свой кусок земли найди, прикипи к нему, потом полей, обиходи его – а тогда красивые слова говори, падла! Да я тебя...

И тут завизжала, закричала в неистовстве Катя:

– Оставьте его в покое! Что вы схватили его? По какому праву? Вы слышите: оставьте его в покое!

Может, не закричи она этих слов, ничего бы дальнейшего и не случилось, но от крика ее Егор совсем обезумел и так встряхнул Георгия, отшвырнув его в сторону, что... То есть он отшвырнул Георгия и повернулся к Кате, чтобы и ее поучить малость, дать пару раз по морде, чтоб навсегда забыла дорогу сюда, стервочка... Но... Тут-то и случилось то, чего никто, конечно, не ожидал: Георгий, отшвырнутый страшной силой к сосне, ударился головой о ствол, верней – не головой ударился, а врезался правым виском в грубый острый короткий сучок и, прохрипев что-то странное, нечленораздельное, вытаращив в безумии от происходящего с ним глаза, рухнул под сосну, обливаясь кровью.

Умер он сразу, в минуту, хотя кровь тонкой струйкой продолжала бежать и бежать из его виска.

Егор с Катей, не веря глазам своим, оба стояли, как вкопанные, онемели от случившегося.

– Вы убили, убили его! – закричала наконец Катя и бросилась к Георгию. – Гоша, Гоша, – трясла она его. – Гоша, что с тобой, Гоша... открой глаза, милый, хороший... открой, ну же, Гоша!

Но Георгий был мертв, и голова его безвольно падала на обмякшей шее, когда Катя пыталась приподнять Георгия.

– Негодяй! Мерзавец! Подлец! Убийца! – Катя поднялась с места и, сжав кулачки, с побелевшими губами, пошла на Егора. – Вы убийца, убийца! Убить такого человека, Господи... такого человека!..

И тут Егор все понял; все осознал; во всем прозрел; и двинулся навстречу Кате.

– Что вы, что... – вдруг отшатнулась Катя, увидев его черные угрюмые глаза, а в них – слепую безжалостную решимость.

Он шел на нее молча, сосредоточенно, с мрачной безысходностью.

– Не надо... – просительно прошептала Катя. – Пожалуйста... – Она все поняла и в ужасе закрыла лицо руками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.